АЛЕКСАНДР ФРОСТ

ВОЛЧАРА ИЗ БУДУЩЕГО

ИГРА В ТЕМНОТЕ



Он знает, чем всё кончится.
И не имеет права сказать

КНИГА 4

Александр Фрост

Волчара из будущего. Игра в темноте

«Автор»
2026

Фрост А.

Волчара из будущего. Игра в темноте / А. Фрост — «Автор», 2026

Хабаровск, 1940 год. Приговор вынесен, этап ушёл, дело закрыто. Но в январе под снегом на Хехцирском хребте находят одиннадцатую женщину, и рядом с ней лежит чистый бланк с подписью человека, которого расстреляли три года назад.Начальство называет это подражанием. Оперуполномоченный, который вёз Волченко свои записи из Вязьмска, не доезжает до управления, а серию объявляют раскрытой раньше, чем кто-то успевает задать вопрос.Волченко отказывается подписывать. Ему остаётся игра вслепую: пустить в три канала три разные приманки и по реакции убийцы узнать, кто в управлении слушает чужие разговоры. В ночь учебной тревоги свет гаснет по всему городу.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 23
Глава 5 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Александр Фрост
Волчара из будущего. Игра в темноте

Глава 1

Агафья Матвеевна пришла в четвёртый раз и села на то же место, куда садилась в первые три: на крайний стул у барьера дежурки, спиной к печке, лицом к двери. Руки она положила на колени, поверх платка, и сидела так, будто её поставили здесь вместо часов.

— С Новым годом вас, гражданка, — сказал Мухин, не отрываясь от журнала.

— И вас, — ответила она. — Я с вечера не уходила. Вы не помните, я в тридцать первое сидела до закрытия.

— Помню.

— А сегодня первое. Вот я и пришла.

Волченко остановился на пороге дежурки, не снимая шинели. Полчаса назад он вышел из дома на Запарина, где всю ночь вертел в голове холодец, ёлку с тремя свечами и ладонь, которая на секунду сомкнула его пальцы вокруг бумажки с двумя словами. Утро стояло тяжёлое, чёрное, с градусником за двадцать пять. Первое января тысяча девятьсот сорокового года было обыкновенным рабочим понедельником, и город шёл на службу в валенках, не поминая вчерашнего.

— Вы к нам по поводу Зиминой? — спросил он.

Старуха повернула голову. Лицо у неё было маленькое, сморщенное, с коричневыми пятнами у висков, а глаза выцветшие, почти белые; она щурилась на него, как на лампу.

— Я вам заявление носила, — сказала она. — Вчера. Он взял, — кивок на Мухина. — А сегодня я вспомнила. Раньше надо было сказать, да мне велели не говорить.

— Кто велел?

Она оглянулась на дверь, потом на стеклянную перегородку, за которой стучал «Ундервуд» Зины. Мухин сделал вид, что вписывает в журнал важное слово.

— Я при них не могу, — сказала Агафья Матвеевна. — Мне бы женщину. Вы, товарищ командир, не обижайтесь.

Белова вошла в эту секунду, и её шаги по коридору были единственным звуком в отделе: форма застёгнута до горла, лицо серое от бессонницы, но глаза, как всегда, цепкие. Она посмотрела на старуху, на Мухина, на Волченко и ничего не спросила. Она просто взяла стул, пододвинула его вплотную и села так, что колени их почти касались.

— Агафья Матвеевна, — сказала она негромко. — Я Елена Романовна. Расскажите мне. Не здесь. Если хотите, пойдёмте ко мне в кабинет, там тепло и никого нет.

— А чай будет?

— Будет.

— Тогда пойду.

Они ушли вдвоём. Волченко остался стоять и смотрел, как Мухин, не поднимая головы, перелистывает толстую книгу с картонным корешком.

— Что вы там ищете?

— Сентябрь, — сказал Мухин. — Она в сентябре приходила. Я вам говорил в тридцать первое: три раза ходила. Я тогда не сказал, зачем в третий.

— Зачем?

Мухин нашёл страницу, развернул книгу к нему и придвинул пальцем. Палец дрожал. Это была «Книга учёта отказных материалов», графа «содержание», вписано чернилами,

почерком, которым Мухин писал рапорты: аккуратным, круглым, как у школьника, которого хвалят за чистописание.

«18.09.39. Гр. Соколова А. М. (Серышева, 22) сообщила, что её квартирантка Кузьмина П. И., 25 лет, швея, выбыла в неизвестном направлении 14.09. Прописки не имела. Данных о преступлении нет. В розыск не объявлять. Резолюция уч. Беспалова — съехала, не пропала».

— Моя рука, — сказал Мухин. — Резолюция его, а рука моя. Он сказал: запиши так. Я записал.

— Беспалов в курсе?

— Беспалов в Благовещенске на сборах. Вернётся в феврале.

Волченко прочитал запись ещё раз и почувствовал то особое, глухое раздражение, которое он знал по прежней жизни: не злость, а тяжесть, как у стакана, налитого до краёв, в котором уже ничего нельзя поменять. Двадцать пять лет, одно заявление, отказ по форме. Двадцать один день от этой строки до тела за Волочаевкой. Серое платье, косу, вырезанную бирку он помнил по октябрьскому осмотру, и сейчас они вставали рядом с чужой аккуратной графой, как две половинки разорванной бумаги.

— Кузьмина Пелагея Ивановна, — произнёс он вслух, пробуя имя, как пробуют на зуб монету. — Двадцать пять лет. Швея.

— Мы её не искали, — сказал Мухин.

— Нет.

— Вы меня сейчас расстреляете?

— Ради Бога, Мухин.

Мухин закрыл книгу и положил на обложку обе ладони, как на крышку.

— Отец у меня стрелочником был на Хабаровск-второй, — сказал он. — Тридцать лет ни одного схода. Говорил: твоё дело стрелка, переведи вовремя, остальное не твоё. А я не перевёл.

— Переведёте.

— Когда?

— Сегодня. Найдите мне всё, что в этой книге записано за сентябрь и октябрь про женщин без прописки, и выпишите отдельно. Все отказы, до одного.

Мухин кивнул, и впервые за эти недели в красных веках у него не было ни просьбы, ни вины, а только работа.

* * *

Вещественная комната помещалась под лестницей и пахла тряпками, смазкой и прошлогодним дымом. Волченко отпер её ключом, который держал на одной связке с ключом от архива, и на полке, под номером «неопознанная 4/39, Волочаевка», нашёл бумажный свёрток, перевязанный бечёвкой. Белова привела старуху вниз, и по лестнице та шла, держась за стену и за рукав Беловой, как идут на причастие.

— Не бойтесь, — сказала Белова. — Это только платье.

Он развернул бумагу. Серое шерстяное платье до щиколоток лежало на столе, застёгнутое на все пуговицы, и от воротника был вырезан квадрат, как вырезают из рубахи заплату. Агафья Матвеевна смотрела на него долго. Потом протянула руку, не трогая, и пальцем в воздухе обвела подол.

— Нитка, — сказала она.

— Какая нитка?

— Красная. Я подшивала. У меня серой не было, а Поля с вечера до утра на машинке, ей к девяти сдавать, и подол отпоролся. Я говорю: сиди, я тебе подошью. Нашла в коробке красную. Она смеялась: «У меня ножки теперь в красном». — Она заплакала так, как плачут

очень старые люди: без звука, с неподвижным лицом, только слёзы поползли по морщинам и остановились в углах рта. — Я сама, вот этими руками.

Белова взяла лампу, поднесла к подолу. При жёлтом свете красные стежки на сером выходили тёмными, и именно так они были записаны в протоколе: «подол подшит тёмной ниткой». Никто не посмотрел при дневном.

— Это она, — сказал Волченко.

— Это она, — подтвердила Агафья Матвеевна. — Господи. А я ходила, ходила. Я думала, она к жениху.

— Какому жениху?

— Она говорила: «Один человек обещал, из жилотдела». Я ей: «Какой жених из жилотдела». Она: «Не жених, баба Агафья, а бумага».

Зина, спустившаяся за ними с ковшом воды, постояла в дверях, не зная, куда девать глаза, и поставила ковш на край стола. Из кармана у неё торчали спицы с недовязанным носком, как два игольчатых зуба. Она ничего не сказала. Волченко заметил, что на спицах давно не прибавилось ни одной петли.

— Мне надо ещё посмотреть комнату, — сказала Белова старухе. — Вы дадите ключ?

— Я с вами пойду. Мне там одной не надо.

* * *

Серышева, 22, стоял в глубине двора, за дровяным сараем, одноэтажный, бревенчатый, с наличниками, на которых когда-то была краска. Над крыльцом висела сосулька длиной в руку. Агафья Матвеевна повела их по скрипучему коридору, мимо сундука и умывальника с рукомойником, и открыла дверь третьей комнаты.

Комната была маленькая, тёплая, чистая: железная кровать с горой лоскутных подушек, стол у окна, на нём швейная машинка «Зингер», накрытая платком. На стене фотографии в рамках из спичечных коробков; на подоконнике, в консервной банке, стоял засохший букетик из бессмертников. Пахло нафталином и кипячёным бельём.

— Машинка моя, — сказала старуха. — Я сдаю. Пять рублей в месяц. Они за ней сидят, кто на заказ. Поля сидела. Потом, как пропала, неделю она тут стояла, потом Антонина пришла. Тоже портниха. Тоже из чужих.

— Из Читы, — сказал Волченко.

— Из Читы.

Он стоял посреди комнаты и ждал, пока глаза привыкнут к тому, что видят. В прежней жизни у него было правило: первые две минуты не трогать ничего. Он смотрел на кровать, на стол, на гвоздь у двери, на коробку с нитками на подоконнике. Ничего не лежало как попало, но и ни одна вещь не была поставлена. Комната, в которой жили без того, чтобы её устроить.

— Где её вещи?

— Всё тут. Пальто с воротником она надела. Сумку взяла, паспорт, справка с артели. Ножницы большие, портновские, она их всегда брала: «Вдруг работа».

— Ножницы.

— У обеих. У Поли тоже. — Старуха наморщила лоб. — Я потом у себя обыскалась, думала, может, перепутали. Нету. Обе ушли с ножницами.

Белова посмотрела на Волченко. Он кивнул, и она достала блокнот.

— Агафья Матвеевна, — сказала она. — Вы говорили, что вам велели молчать.

Старуха села на край кровати, и пружины заныли под ней, как под ребёнком.

— Через неделю, — сказала она. — Двадцать девятого, в пятницу. Пришёл человек. Вежливый. В пальто, воротник поднят, шапка, как у людей. В очках? Нет, не в очках. С портфелем. Ноги вытер на коврике, чего у нас никто не делает: все сразу в комнату. Поздоровался,

назвался: «Из жилотдела, перепроверка по домовым книгам». У меня книга в комоде. Он посмотрел, поцокал: «Беспорядок, Агафья Матвеевна, у вас жилицы не записаны». Я говорю: «Они без прописки, им не дают». Он говорит: «Это поправимо». Так и сказал: «Это поправимо».

— Вы запомнили лицо?

— Нет. — Она развела руками, и в этом жесте была почти вина. — У меня глаза. Я вам скажу: обыкновенный. Пожилой не пожилой. Если встречу, не узнаю. Руку подал. Тёплая. Вот это помню: у него рука была тёплая, а на улице сорок. Я потом подумала: он не с улицы.

Белова записала. Волченко подошёл к окну и положил ладонь на подоконник, чтобы унять руку, которая сама собой потянулась к карману за блокнотом.

— Что он сказал про Антонину?

— Спросил: «Жилица ваша дома?» Я говорю: нет, неделю нету, ушла к одному товарищу из жилотдела. Он говорит: «Ну вот. Всё устроилось. Она получила бумагу и выбыла. Документы я заберу, они ей не понадобятся». Сказал, чтобы я никому не рассказывала. Что у меня самой с домом будут вопросы. — Она всхлипнула. — Забрал книгу. Принёс через час обратно, поставил печать. Сказал: «Теперь порядок».

— Книга у вас?

— В комоде.

Белова вынула из ящика комода толстую книжку в клеёнчатой обложке, на которой химическим карандашом было выведено: «Домовая книга. Серышева, 22». Волченко взял её и пролистал: страницы в клетку, вписаны жильцы с датами, отметки паспортного стола, карандаш, фиолетовые печати «Прописан». Он добрался до последней записи и остановился.

«Зимина Антонина Ивановна, 1915 г. р., из г. Читы, проживала без прописки с 4.11.39. Выбыла 29.12.39 в г. Благовещенск. Книга сверена». Чернила синие, дата, фиолетовая печать, подпись, закорючка в виде петли.

Почерк был чиновничий, мелкий, ровный, без нажима, быстрый.

Он перелистнул назад, к осени, и нашёл вторую запись, в том же углу страницы.

«Кузьмина Пелагея Ивановна, 1914 г. р., из г. Благовещенска, проживала без прописки с 3.06.39. Выбыла 21.09.39 в г. Благовещенск. Книга сверена». Те же синие чернила. Та же петля. Тот же быстрый, невесомый почерк, написавший двух женщин из жизни за две минуты.

— Он приходил дважды, — сказал Волченко. — В сентябре и в декабре. Оба раза через неделю после того, как они ушли.

— Я не помню, чтобы в сентябре, — сказала Агафья Матвеевна. — В сентябре я у сестры была.

— Тогда зашёл, когда вас не было, — спокойно сказала Белова. — Дверь вы запираете?

— Какое запираю, у меня воровать нечего.

Белова захлопнула блокнот. Лицо у неё было спокойное, как всегда, но одна жила на виске подёргивалась, мелко, на каждый вдох.

— Он не только убивает, — сказала она. — Он подшивает.

— Он закрывает дело, — сказал Волченко. — Пока мы его даже не открыли.

* * *

Вечером он сидел в подвале, разложив на столе четыре листа, и перебирал то, что у него было. Печка не топилась, потому что Зина забыла сказать истопнику, и пальцы мёрзли на карандаше.

Список «лишних». Составлен в январе тридцать девятого, после переписи, из слов учительниц-счётчиц: адреса, где людей оказалось больше, чем коек. Одиннадцать улиц, сорок три дома, и в каждом, в строчке, поставленной рукой Беловой, аккуратная цифра: «14 человек на

7 коек», «6 на 3», «4 на 2». Серышева, 22: «4 на 2». Четыре человека на две койки. Хозяйка, швея, швея и кто-то ещё, чьё имя никто не спросил.

— Копий было четыре, — сказала Белова.

Она стояла в дверях, и на ней было то же пальто с чёрным воротником, которое она не снимала с утра. В руках термос.

— Один у нас. Второй в надзорном производстве у Лукина, приложением к рапорту об объединении. Третий у Гусева, в ящике. Четвёртый в паспортном отделе: они запросили через куратора по паспортному режиму, это их функция. Я проверяла.

— Кто запросил?

— Запрос подписан Гусевым, виза: «согласовано с УГБ».

— Значит, всё по форме.

— Всё по форме.

Она налила ему чаю из термоса. Он взял кружку обеими руками и подул на пар, и на секунду в голове у него прозвучало не здесь, а в другой комнате, за стенкой, звяканье ложки о стекло: ровное, мерное, как пульс. Кто-то мешал чай. Он знал, кто, и не стал отгонять звук. Ложка постучала и затихла.

— Мы сами составили ему меню, — сказал он.

— Не говорите так.

— Почему?

— Потому что в январе тридцать девятого мы искали тех, кого не было ни в одной бумаге. Мы хотели найти невидимых, чтобы потом их защитить. — Она поставила термос на стол. Голос у неё не дрогнул, но кончики пальцев побелели. — Если мы виноваты в том, что подали список, то виноваты и учительницы, и Лукин, и Гусев, и тот, кто придумал перепись.

— Это не оправдание.

— Нет. Это единственное, что у меня есть.

Он посмотрел на неё. Она стояла прямо, подбородок чуть приподнят, и от этого, от того, как она держала голову, у него сжалось что-то не в горле, а ниже, там, где в прежней жизни была кобура и привычка к пиджаку. Он хотел сказать ей что-нибудь простое. Вместо этого сказал:

— Одиннадцать улиц. Сорок три дома. Нужно проверить, у кого в этих домах были квартирантки без прописки. И кого из них сейчас нет.

— Я уже начала.

— Когда вы спите?

— Я не сплю. — Она улыбнулась, коротко и устало. — Вы тоже.

Она ушла. Он остался с четырьмя листами, из которых один был его собственный, и стал по строчке, карандашом, помечать крестиком те адреса, где жили одинокие женщины без бумаг. Получилось семнадцать крестов. Семнадцать дверей, и за каждой кто-то мог в любой вечер услышать: «Это поправимо».

* * *

Дрозд принимал после девяти. Он открывал дверь на цепочке, смотрел в щель блеклым глазом, потом снимал цепочку и пропускал: «Заходите, Михаил Андреевич, я вас узнал по шагам». Ему шёл семьдесят второй год, борода у него была чистая, серая, с жёлтой полоской под нижней губой от табака, и в комнате, заставленной полками, пахло клейстером, кожей и воском.

Волченко положил на стол свёрток в газете.

— Вы просили, — сказал он.

— Я просил? — Дрозд улыбнулся. — Это вы просили, а я только ответил, что умею.

Он развязал бечёвку, разгладил газету ладонью. Клеёнчатая тетрадь, замусоленная по углам, лежала перед ним, как больная птица. Дрозд не открыл её. Он взял с полки толстый том в красном коленкоре, тиснёный золотом, постучал по корешку ногтем и поднёс к лампе.

— «Краткий курс истории ВКП(б)». Тридцать восьмого года, второе издание. У каждого в доме два экземпляра, и ни один не читан. — В голосе его не было ни насмешки, ни осуждения: так говорят о погоде. — Люди прячут в книги самое нужное, потому что книгу не обыскивают. А эту не откроют никогда. Даже те, кто обыскивает.

— Вы уверены?

— Я пятьдесят лет в переплётном деле, молодой человек. Я-то видел, как открывают книги. Эту будут держать за корешок и трясти. Страницы у неё сшиты на совесть, их много, мимо блока ничего не вывалится. Приходите через два дня.

Он надрезал шов у корешка так легко, что нитка не лопнула, а только разошлась. Волченко смотрел на его руки, жёлтые, быстрые, с пятнами клея на костяшках, и подумал, что человеку, который переплёл столько чужих дел, не нужно объяснять, зачем нужна эта тетрадь.

— Вы ничего не спросите?

— О чём?

— О том, что внутри.

— Нет, — сказал Дрозд. — Зачем? Всё, что нужно знать, видно по тому, как вы её держали. Ничего не пропадает, Михаил Андреевич. Оно только ждёт.

Из-за стены, из комнаты Тамары Ильиничны, донёсся детский голос.

— Дядя Миша там? — спросила Лидочка. Ей исполнилось девять, и она теперь спрашивала не про собак. — А Глухов вернётся?

Дрозд поднял глаза. Волченко не ответил: за него ответил скрип половицы и быстрый шорох, с которым мать увела ребёнка от двери.

— Вернётся, — сказал он в стену. — Не знаю когда.

Он вышел в коридор. Окна замёрзли до половины, и вдоль стекла тянулась белая узорчатая корка. В своей комнате он достал блокнот, раскрыл на чистой странице и написал две строки: «Кузьмина П. И. (десятая). Зимина А. И. (одиннадцатая?)». Зачеркнул вопросительный знак. Потом подумал и написал его снова.

Глава 2

Лесник не снял рукавицы, когда протянул записку, и Волченко понял почему: пальцы под ними примёрзли к овчине. Старик стоял в дежурке, огромный, обросший инеем до бровей, и от него шёл пар, как от лошади, пробежавшей версту.

— Егоров Прокопий Саввич, — сказал Мухин. — С Хехцира. Пришёл на лыжах до разъезда, там сел на товарняк. Просит товарища старшего лейтенанта.

Записка была на листке из ученической тетради, карандашом, почерком участкового Хехцирского поссовета: «В 3 км от заимки Медвежья, в ельнике на склоне, обнаружена под снегом женщина, предположительно умершая давно. Охраняю. Приезжайте». Подпись, и ниже приписка уже другой рукой, крупно: «Не нашенская».

— Что значит «не нашенская»? — спросил Волченко.

— Ветка, — сказал лесник. Голос у него был сиплый, с придыханием, как у человека, который два дня говорил только с собакой. — Эту яму нашёл не я, а Бойка. Рыла и рыла, я думал, лиса. А там лапник. Положен аккуратно, как на могилу. А лапник пихтовый. У нас здесь пихты нет, она по северному склону, за двенадцать вёрст. Кто-то привёз.

— Когда это было?

— Вчера. Пятнадцатого. Утром.

Волченко посмотрел на часы. Седьмой час. Шестнадцатое января, вторник, и градусник на крыльце показывал тридцать четыре. Он поднял трубку, набрал Зильбермана, потом Цоя, потом Белову, и каждый раз слышал в трубке один и тот же звук: не гудок, а то, что за гудком, пустое дыхание линии, по которой когда-то пройдёт голос.

— Одеваться тепло, — сказал он. — Очень тепло.

* * *

До разъезда ехали на открытой платформе товарного состава, забившись между мешками с мукой и ящиками, и ветер просекал шинель насквозь, как ножом вощёную бумагу. Белова сидела прямо, закутанная в две шали, и только глаза её двигались над шерстью. Цой держал на коленях «Лейку» в тёплом футляре, под полой тулупа, чтобы плёнка не потрескалась; рядом с ним лежал узкий кожаный чехол, из которого он доставал только термос. Зильберман, в пальто с бобровым воротником, поднятым до ушей, сидел неподвижно и смотрел вперёд, на белую равнину, над которой вставало красное, неохотное солнце.

— Вы давно не были в тайге, Яков Семёнович? — спросил Цой.

— Тридцать пять лет. — Зильберман не повернул головы. — Последний раз я был в лесу с ружьём, в Харьковской губернии. Мне тогда казалось, что лес — это место, где можно потерять себя. Теперь понимаю: в лесу людей находят.

Дальше пошли на санях. Сани были лесничьи, низкие, с одной лошадью, и лесник шёл рядом, не садясь, потому что, как сказал, «лошадь не любит чужого веса». Снег лежал по пояс, голубой, зернистый, с каждым шагом оседая вниз с хрустом, и в просеке, где полозья вязли, лошадь тяжело дышала, выпуская облака пара, застывающие на гриве.

Заимка Медвежья оказалась избушкой в три окна, с дымком над трубой, и хозяйка, жена лесника, вынесла им кружки с горячим чаем и ломоть хлеба. Белова сжала кружку обеими руками. Она не пила, а только грела пальцы.

— Ещё три километра, — сказал лесник. — Дальше только на лыжах.

* * *

Участковый Хехцирского поссовета, молодой, румяный, с красными ушами, ждал их у начала просеки с винтовкой за плечом и посиневшими руками. При виде Волченко он сделал шаг, чтобы доложить, но ноги сами оступились, и он докладывал стоя на одном колене, смущённо улыбаясь.

— Всё как есть, товарищ старший лейтенант. Не трогал. Только снег чуть разгрёб у лица, чтобы убедиться.

— Хорошо.

— Следов нет. Я смотрел. Только возле самой ямы… — Он замялся. — Вы сами увидите.

Ельник стоял стеной, чёрный и тихий, каждая лапа держала на себе по пуду снега. Метров за тридцать от тропы Волченко остановился. В сугробе лежал овальный холм, чуть правильнее, чем должен лежать сугроб, и с одной стороны, там, где участковый разгрёб снег, из-под белого выглядывала тёмная хвоя, разложенная, как перья на крыле, чешуйками вверх.

Он опустился на колени. Белова встала рядом, не касаясь.

Лицо открылось полностью, когда они вдвоём убрали снег голыми руками, осторожно, ладонями, по сантиметру. Молодая женщина, с чуть приоткрытым ртом, с ресницами, на которых белел иней; светлые брови, тонкий нос, у виска пятнышко родинки. Тёмные волосы, заплетённые в косу, лежали поверх воротника, и на косе, там, где снег подтаивал от дыхания Беловой, поблёскивали мелкие кристаллы. Она лежала на спине. Руки вдоль тела, ладонями вверх. Ноги вместе. Пальто драповое с чёрным воротником застёгнуто на все пуговицы, ботики на меху, чулки; платок на плечах сложен треугольником.

— Антонина Ивановна Зимина, — сказал Волченко. Голос у него вышел чужой, глухой.

— По описанию Агафьи Матвеевны, — сказала Белова.

— Да.

Он не стал ничего добавлять. Цой навёл «Лейку», и в морозной тишине щёлкнул затвор, один раз, другой, третий: звук, который тут казался неуместным, чужим, как ложка, уроненная в храме.

— Лапник привозной, — сказал лесник негромко за его спиной. — Видите, ветка тонкая, мягкая, с серебром снизу. Пихта. Я ж говорил.

— Срез, — сказала Белова. — Ножом. Косой, одним движением. Одна сторона.

— Как у всех.

— Как у всех.

Зильберман опустился рядом, расстегнул пальто, достал из кармана футляр с пинцетом и резиновые перчатки. Лицо у него было белое, острое, борода обледенела; он работал медленно и ни разу не взглянул ни на кого. Приподнял рукав пальто, осмотрел запястье. Рана, три сантиметра, косая, чистая, с темными, как смола, краями. Левое запястье. Он положил руку на место и проговорил отрывисто, как диктуют:

— Одно движение. Прижизненная. Края чистые. Глубина до сухожилия. Время смерти… — Он осёкся, потом поднял голову. — Здесь наст в два слоя. Нижний образовался до первой метели, верхний после. Она лежит под лапником не меньше трёх недель. Значит, положена в течение суток-двух после смерти. А умерла, по трупному окоченению, по цвету кожи под лапником, около четырёх недель назад.

— Двадцать второго декабря, — сказал Волченко. — Пропала в пятницу, в шесть вечера.

— Совпадает.

— Он держал её до того, как положить?

— Нет. Мороз держит сам. Но он не стал медлить. — Зильберман снял перчатку, аккуратно положил в футляр. — Раньше, помните, он приносил её на место через месяц, когда был готов. Теперь спешит.

Белова не сказала «или его торопят». Она смотрела на тело, и на лице её не было ничего, кроме внимания.

— Что у неё в руках? — спросила она вдруг.

— Ничего.

— У головы.

Волченко посмотрел. Там, под самым краем лапника, у темени, лежал плоский прямоугольник, засыпанный снегом, и снег на нём лежал глаже, чем на всём остальном. Он смахнул его ладонью. Под снегом открылся лист плотной бумаги, сложенный вчетверо, углом к углу, и на сгибе, как на запечатанном конверте, проступил тусклый круг лиловой печати.

Он поднял лист за краешек двумя пальцами, как Вяткин учил обращаться с бумагой, и развернул на колене.

Бланк. Типографский, с чёрной рамкой по краю. Сверху: «Выписка из ордера №____ на право занятия жилой площади». Ниже пустые графы: «Выдан гр.», «Состав семьи», «Адрес»: ни одно не заполнено. Внизу печать, круглая, смазанная, с кусочками букв: «…кого края». Рядом синими чернилами подпись, мелкая, аккуратная, с перечёркнутой петлёй: «Шульгин В. И.».

Он не стал читать вслух. Он перечитал про себя, раз, потом ещё раз, и на третий раз понял, что дыхание у него остановилось.

— Что там? — спросил Цой.

— Ордер.

— Чей?

— Ничей. — Он передал лист Беловой, и она взяла его так же, за краешек. — На бумаге пустые графы.

— Он оставил ей то, что обещал, — сказала Белова.

— Да.

Зильберман встал с колен, отряхнул снег с пальто и посмотрел на них поверх очков. В его лице, в этом строгом, измученном, умном лице проступило что-то, чего Волченко раньше не видел: не страх, а стыд.

— Раньше он оставлял вещь, которая говорила, кем она была, — сказал он. — Кофту, фартук, халат. Теперь он оставляет то, что обещал. Это другая фраза, Михаил Андреевич. Тот, кто говорит так, не прячется. Он показывает. И, по-моему, он хочет, чтобы вы видели не жертву, а себя.

— Что значит «себя»?

— Это значит: вы тоже обещали. Мы все обещали. — Зильберман застегнул пальто. — Я привык не говорить того, что не могу доказать. Простите.

* * *

Тело вывозили на волокуше, которую участковый сплёл из жердей и еловых лап, и когда её тащили по просеке, лошадь фыркала и косилась на ношу. Волченко шёл рядом, держась за верёвку. Лесник шагал впереди, заложив руки за пояс.

— Прокопий Саввич, — сказал Волченко. — Вы здесь все тропы знаете?

— Как свой двор.

— Если б сюда ночью принесли тело, не со стороны разъезда, а откуда-то издали, откуда бы?

Лесник остановился, подумал и вытянул руку в сторону чёрной стены леса, где виднелась узкая просека, засыпанная по колено.

— Только оттуда. Старая зимовьюшная дорога. Лет десять не езжена. Шёл бы он по ней на лыжах, с санками, с волокушей. Лошадь не пройдёт, там валежник.

— Один человек?

— Один. Двоим там тесно. И сильный. Волокуша с телом, километр в гору, по глубокому снегу. — Старик почесал бороду, и иней посыпался. — Или не человек. Бывало, ходили охотники из соседних сёл, на широких лыжах. Подбитые камусом, чтоб не скользили. Я такие две пары видел на прошлой неделе. Следы заметало, но я приметил: ходил один раз туда и обратно.

— Где?

— У старой дороги. Я думал, браконьер.

— Какого числа?

— Девятого. Десятого. Не скажу.

Волченко остановился и достал блокнот. Руки дрожали от холода, и карандаш прыгал по бумаге. Он записал: «Лыжи подбитые камусом. Один человек. 9–10.01. Сильный. Знал дорогу».

Знал дорогу. Не чужой. Он вспомнил, как лесник сказал: «Только оттуда». Человек, знающий старую зимовьюшную дорогу, которую не знал даже участковый, и не боящийся ходить по тайге с телом на волокуше.

— Охотник? — спросила Белова, подойдя сзади.

— Или тот, кто бывал здесь раньше.

— Мартынова лежала в лесу у Красной Речки, — сказала она. — Соколова у Владивостокского шоссе. Гурьева на сопке над Нижней, Лыкова в ельнике над той же набережной. Ни одно место не повторилось.

— Каждое он знал.

— Да.

Дальше шли без разговоров. Впереди лошадь тянула волокушу по глубокому снегу, и по бокам вставали чёрные ели, одна за другой, как строй, который кто-то поставил здесь и не дал команды разойтись.

* * *

В холодной при городской больнице Зильберман закончил к полуночи. Он не выпил чаю, не снял фартука и вышел в коридор, только когда за стеной кончил плакать ветер. Лицо у него было серое, как бумага.

— Асфиксия руками, — сказал он. — Сломан левый рог подъязычной кости. Рана на левом запястье, три сантиметра. Желудок: чай, хлеб. Белый хлеб, масло, сладкий чай. Всё как у Гурьевой.

— Сладкий, — сказал Волченко.

— Очень. Я бы сказал, до приторности. Кто-то любит, когда им накрывают стол. — Зильберман снял очки и протёр их краем фартука. — Паспорта нет. Справки с артели нет. Ножниц нет. Ничего.

— Ножницы.

— Агафья Матвеевна рассказала Елене Романовне. Тоже пропали. Это мелочь, но я её записал.

Белова стояла в дверях, с прямой спиной.

— Яков Семёнович, — сказала она. — Вы давно спали?

— С декабря. — Зильберман попытался улыбнуться, и вышло плохо. — Я стал старше на пять лет за зиму. Это не метафора.

— Идите домой.

— Дойду. Только скажите мне одно, Елена Романовна. — Он надел очки и посмотрел на неё так, как смотрят на человека, которому ещё можно задать вопрос. — Вы читали заключение по Ярцевой? Вяземское. Врач написал: «причина не установлена». Не искал. Мы нашли подъязычную кость. Если бы он нашёл, если б захотел найти, сколько женщин осталось бы в живых?

Она не ответила.

— Я не спрашиваю вас. Я спрашиваю себя.

Он ушёл по коридору, и шаги его, мерные, шаркающие, стихли у лестницы. Белова долго смотрела ему вслед.

— Он винит себя, — сказала она.

— Он единственный из нас, кто может.

— Это не поможет.

— Нет.

* * *

Агафью Матвеевну привели в холодную утром семнадцатого, и она вошла сама, отстранив руку Беловой, в чёрном платке и в валенках, начищенных, наверное, с вечера. Остановилась у стола, на котором под простынёй угадывалась неподвижная фигура. Простыню приподняли только до подбородка.

Она не вскрикнула. Постояла, подышала, чтобы согреть воздух, потом протянула руку и поправила выбившуюся прядь у виска, там, где была родинка, и пальцы её не дрожали.

— Это Тоня, — сказала она. — Косу я ей заплетала. Она сама не умела гладко, всё на сторону. Я говорила: давай, дурёха.

— Вы узнаёте пальто? — спросила Белова.

— Узнаю. Это с барахолки, чёрный воротник она сама пришивала. — Старуха наклонилась и почти ласково провела пальцем по краю воротника. — Ленточки нет. Красная была, в косе. Я ей подарила на Новый год. На тридцать первое. То есть… — Она оборвала себя. — Нет. Она не дожила до Нового года. Я подарила заранее, двадцатого. Она в тот же вечер вплела.

— Где лента сейчас?

— Не знаю. Ушла с ней. — Голос у неё дрогнул. — А тут нет.

Белова взглянула на Волченко. Он кивнул, и она записала: «Красная лента (20.12). Исчезла». Мелочь, одна из тех, которые не складываются ни во что, пока не сложатся.

— Кто её хоронить будет? — спросила Агафья Матвеевна. — Родни же нет.

— Мы, — сказала Белова.

— Нет. — Старуха выпрямилась. — Не вы. Я. У меня на смерть отложено: сто двадцать рублей, под клеёнкой в сундуке. На себя. Ей нужнее. Я потом ещё накоплю.

Она произнесла это спокойно, как говорят о покупке дров. Белова отвела глаза. В углу холодной, у двери, стоял Цой, сняв ушанку, и по лицу его, обычно ничего не выражавшему, прошла тень, быстрая, как птица по стеклу.

— Хорошо, Агафья Матвеевна, — сказал Волченко. — Мы поможем с гробом.

— Не надо.

— Надо.

Она посмотрела на него долго, выцветшими глазами, и впервые за всё это время в них мелькнуло что-то, похожее на доверие.

— Вы не как они, — сказала она. — Те приходят и пишут. Вы приходите и стоите.

* * *

Вяткин принимал по вторникам, и ждать пришлось неделю. В шесть вечера, минута в минуту, двадцать третьего января они спустились по каменным ступеням в подвал краевого суда, бывшую котельную, где на шнурах висели два светильника, а между стеллажами с коробками «Образцы. Судебные, 1925» стоял немецкий микроскоп и тикал метроном: шестьдесят ударов в минуту, не сбиваясь, как живое сердце.

— Молодой человек, — сказал Вяткин. — Сударыня.

Он был в тех же хлопчатобумажных перчатках, в сером полотняном пиджаке студенческого покроя, и толстые очки в свете лампы превращали его глаза в две огромные, серьёзные капли. Белова положила бланк на стеклянную подставку. Старик не прикоснулся к нему, пока не придвинул лупу, не включил боковую лампу и не выключил верхнюю.

— Так, — сказал он. — Так. Любопытно.

Метроном стучал. Вяткин смотрел минуту, потом две, потом поднял бланк за краешек, поднёс к лампе, и в глубине бумаги проступил водяной знак — прозрачные буквы и цифры.

— «Гознак, тысяча девятьсот тридцать восьмой», — прочёл он. — Бумага выпуска тридцать восьмого года, декабрь. А подпись… — Он вернул бланк на подставку и придвинул лупу. — Нет, сударыня. Это обводка.

— Обводка?

— Кто-то обводил по образцу. Медленно, с остановками. Видите, чернила скапливаются на изгибах: перо стояло. Живая рука так не пишет, она не стоит. Нажим везде одинаковый, а у Шульгина, я его почерк знаю по картотеке, в петле нажим слабел, потому что он торопился. Здесь нет. Здесь каждая линия сделана с вниманием, как у школьника, которому велели не ошибаться. — Он снял очки и протёр их краем перчатки. — Вы помните, что Василий Игнатьевич расстрелян в октябре тридцать седьмого?

— Помню.

— Бланк напечатан в декабре тридцать восьмого. Через год с лишним после его смерти. Подпись обведена. Значит, у человека, который это сделал, был образец. Подлинная подпись Шульгина, на любой бумаге, и сколько угодно времени. Образцы подписи такого человека хранятся в двух местах: в деле и в сейфе. И дело, и сейф принимает комиссия, когда хозяин не возвращается.

— Какая комиссия? — спросил Волченко.

— Не знаю, молодой человек. Это не моя область. Я только скажу: когда в августе тридцать седьмого Василия Игнатьевича вызвали на Ленина, где он не вернулся, кабинет его опечатали. Печать сняли потом. Кто снимал, и что лежало внутри, знает тот, кто снимал.

Метроном стучал. Волченко смотрел на бланк, на синюю обведённую петлю, и вдруг ясно, до холодного поту, увидел кабинет без хозяина, стол, шкаф, сейф с сургучной печатью, и кто-то в сером, с аккуратными руками, перебирающий бумаги в поисках не улик, а образцов.

Кто опечатывал кабинет Шульгина?

Глава 3

— Подражатель, — сказал Гусев, и слово так ему понравилось, что он повторил его, медленно, как пробуют горячий чай. — Подражатель, Миша. Ты слышишь, как это звучит?

— Слышу.

— Нет, ты не слышишь. Ты стучишь.

Волченко посмотрел на свою руку. Пальцы лежали на краю гусевского стола и, пока тот говорил, отбивали по сукну быструю частую дробь, как по клавишам, которых в этом кабинете никогда не было. Он убрал руку на колено.

— Привычка, — сказал он.

— Дурная. На телеграфе научился?

— В школе. Азбука Морзе.

— Бросай. — Гусев откинулся в кресле. На нём был новый китель, с блестящими пуговицами, и чёрная нашивка на рукаве, которую он носил с сентября и, кажется, не собирался снимать. Лицо у него за эти месяцы осунулось, под глазами легли тёмные мешки, но говорил он с тем облегчением, с каким говорят люди, которых отпустили с похорон. — Ты слушай меня. Особый отдел прислал бумагу. Вчера вечером. Читаю: «В связи с осуждением Глухова С. Т. и закрытием дела по гр. Лыковой, новый случай в отношении гр. Зиминой следует рассматривать как проявление подражательного поведения лица, осведомлённого о деталях судебного разбирательства». Понимаешь?

— Понимаю.

— Суд был открытый. Шестьдесят человек в зале. Стенографистка. Зильберман вслух читал про ладони, про ноги вместе, про лапник. Про платок вчетверо. Любой, кто сидел в последнем ряду, мог повторить. Подражатель, Миша, это не слабость нашей версии. Это сила нашей версии: раз он копирует, значит, настоящего взяли, и копировать есть кого.

— А бланк?

— Какой бланк?

— Тот, что у неё лежал у головы.

— Бланк. — Гусев поморщился, как от кислого. — Бланк — это личное творчество подражателя. Любитель, видимо, ходит в жилотдел. Бумага с печатью — чего не увидишь на нашей земле. Это не доказательство, Миша, это реквизит.

— Подпись расстрелянного человека на бумаге, напечатанной через год после его смерти, — сказал Волченко спокойно. — Это реквизит?

Гусев умолк. Он смотрел на Волченко пристально, не мигая, и в этом взгляде не было ни гнева, ни испуга, а только очень старая усталость.

— Откуда ты знаешь про год?

— Я показывал специалисту.

— Кому?

— Это неважно.

— Для меня важно.

— Для вас, Фёдор Степанович, главное, чтобы это не пошло наверх.

Гусев долго смотрел на него и вдруг усмехнулся: коротко, криво, одним углом рта.

— Научился, — сказал он. — Ладно. Вот что. Дело по Зиминой ведёшь ты, но как отдельное, по подражанию. Рапорт об объединении пусть лежит у меня в ящике, там ему тепло. Лукин возбудит как отдельное, я с ним говорил. А ты мне, Миша, об одном: не называй это «серией» при людях. Ни в коридоре, ни в столовой. Особенно при Корнееве. Он слово слышит за километр.

— Он нас читает, Фёдор Степанович.

— Он всех читает. Он куратор.

Волченко встал. На пороге обернулся.

— Вы довольны, — сказал он.

— Я не доволен. Я просто жив.

* * *

Лукин не любил кабинетов, где пахло краской, и принимал в комнате, где последний раз красили в двадцать седьмом. Он сидел за столом, вытянув перед собой тонкие, костлявые руки с чернильными пятнами на пальцах, и читал постановление, которое писал сам, как всегда, в двух экземплярах, чтобы иметь возможность сравнить один с другим.

— Возбуждаю, — сказал он, не поднимая головы. — Номер тысяча четыреста девяносто один. «По факту обнаружения трупа гр. Зиминой А. И. с признаками насильственной смерти». Статья сто тридцать шесть, часть первая. Без фамилий.

— Отдельное?

— Как просили. — Он наконец посмотрел на Волченко поверх очков. — Но вы понимаете, что в надзорном производстве по сто четырнадцатому «тридцать седьмого» остаётся рапорт об объединении. Я не сниму его с учёта, как бы ни просили. Оба дела будут лежать рядом. Пока не лягут в одну папку.

— Они лягут?

— Я не пророк, Михаил Андреевич. Я прокурор. — Он положил ручку. — Я хочу, чтобы вы знали: Особый отдел прислал мне ту же бумагу, что и Гусеву. Про подражание. Я написал в ответ: «Принято к сведению». Это не значит «согласен». Это значит, что мне известно: вы сидите в соседней комнате и слышите каждое слово.

— Мне нужна санкция на обыск в паспортном отделе, — сказал Волченко. — Там ведомости перепроверок по домовым книгам.

— Санкция будет при одном условии. Вы объясните мне, зачем.

— Человек, который приходил к Агафье Матвеевне, представлялся «из жилотдела». В жилотделе такой проверки не было. Значит, она была в паспортном. Я хочу знать, кто там ходил.

— Вы подозреваете сотрудника паспортного отдела?

— Я подозреваю бумагу.

Лукин долго перебирал листы.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Но не обыск. Запрос. Обыск насторожит. Запрос пойдёт официально, ответ будет в течение недели. А вы пока подумайте, что скажете, когда вам скажут, что ведомости секретны.

* * *

В кабинете двадцать один на втором этаже Пушкинской пахло одеколоном и холодным чаем. Дверь, обитая новым чёрным дерматином, бесшумно закрылась за Волченко, и в наступившей тишине стало слышно, как тикают часы на стене, размеренно, как чей-то счёт вполголоса.

Корнеев сидел за столом. Стол был тот же: ничего лишнего, сейф, календарь, портрет, графин под перевёрнутым стаканом. На подоконнике появилась новая вещь: шахматная доска, расставленная посередине партии, с фигурами из тёмного и светлого дерева. Партия не была закончена. Один из белых коней стоял на краю доски, одинокий, оторванный от своих.

— Садитесь, Михаил Андреевич, — сказал Корнеев негромко. — Чаю?

— Нет, спасибо.

— Тогда без чаю. — Он улыбнулся своей улыбкой, ни к кому не обращённой, как свет в окне пустого дома. — Среда. Мы договаривались по средам. Докладывайте.

Волченко доложил. Он говорил коротко, по пунктам: обнаружение тела, место, заключение Зильбермана, показания лесника, хозяйки, участкового. Корнеев слушал, откинувшись, положив ладони на стол, и от гладко выбритого лица, от безупречного воротника, от недлинных чистых ногтей шла та особая, организованная тишина, в которой каждое слово звучало вдвое весомее.

— Подражание, — сказал он, когда Волченко кончил. — Вы согласны?

— Я исполняю.

— Это не ответ.

— Пока нет данных, чтобы опровергнуть.

— Они есть, — сказал Корнеев. — Но вы их не называете. — Он вынул из ящика папку, раскрыл на первой странице. — В протоколе осмотра значится: «У головы обнаружен лист бумаги, сложенный вчетверо». Что за лист?

— Бланк ордера. Пустой.

— С печатью?

— Да. Краевая. Смазана.

— Подпись?

Волченко посмотрел на него. Тот ждал, спокойно, как человек, который знает ответ на вопрос, но спрашивает из вежливости.

— Неразборчивая, — сказал Волченко.

Корнеев не шевельнулся. Секунду, две, три в комнате стояла тишина, нарушаемая только ходом стенных часов. Потом он улыбнулся снова, мягче.

— Хорошо. Вы докладываете мне то, что считаете нужным. Я привык, что у каждого своя мера. — Он закрыл папку. — Подражатель любит реквизит, Михаил Андреевич. В нашей практике бывали случаи, когда после громкого суда в городе появлялись люди, которые хотели быть на месте осуждённого. Это болезнь. Лечится только одним: вниманием, которого они лишены. Я не хочу давать ему внимание. Вы хотите?

— Я хочу найти.

— Найти и дать внимание — разные вещи. — Теперь о другом. Паспортный режим. Вы ведёте список адресов, где проживают лица без прописки. Он мне нужен.

— У вас есть. Паспортный отдел запрашивал через Гусева.

— У меня есть голый список. Мне нужны ваши пометки.

— Пометок нет.

Он сказал это быстро, спокойно, и только потом услышал, что сказал. Это была первая ложь Корнееву, в которой не было нужды: мелкая, и она прозвучала так естественно, что он сам удивился.

— Нет? — Корнеев чуть приподнял бровь. — Но Белова составила список по переписи, вы поставили крестики. Я слышал.

— От кого?

— От Гусева. Он любит рассказывать. — Корнеев улыбнулся. — Не волнуйтесь, Михаил Андреевич. Я не из тех, кто требует то, что нужно человеку для работы. Составьте чистую копию и пришлите мне в пятницу. Мне хватит. Я хочу понимать, где ещё могут быть такие Антонины.

— Хорошо.

— И последнее. — Он снова улыбнулся, и от этой улыбки у Волченко на секунду стало пусто под рёбрами, как бывает на лестнице, когда нога ищет ступеньку, которой нет. — Вам нужны ведомости перепроверок по домовым книгам. Лукин запросит у Васильева, а Васильев скажет «секретно». Я скажу ему заранее. Дадут.

— Вы знаете про запрос?

— Я куратор угрозыска. Я знаю всё, что идёт с вашего этажа. — Он встал, и вместе с ним встал и Волченко. — Играете в шахматы?

— Нет.

— Зря. Дисциплинирует воображение. — Корнеев подошёл к подоконнику, тронул пальцем белого коня на краю доски и поставил его на клетку левее. Конь встал тихо, без стука. — Вот так. Одинокую фигуру нужно возвращать к остальным. Иначе её съедят.

Волченко вышел. В коридоре, на красной дорожке, он остановился и достал из кармана платок. Руки были мокрыми. Он не мог бы сказать, почему: ни одного угрожающего слова, ни одной лишней паузы. Помогли, предупредили, обещали открыть. Он шёл по ступеням вниз, и каждая ступень лежала на своём месте, и перила под рукой были гладкими, и он вдруг подумал: если копий четыре, пусть будет пять. И каждая чуть другая.

Мысль не имела формы. Он не стал её додумывать.

* * *

В подвале Белова увидела его руки раньше, чем лицо, и подвинула к нему миску с остывшей картошкой, принесённую из дома в узелке.

— Он просил пометки, — сказал Волченко. — Я ответил, что их нет.

— Вы солгали куратору?

— Да.

— Зачем?

— Не знаю. — Он взял вилку, положил обратно. — Рапорты сперва уходят, потом спрашивают, кто писал. Это не я придумал.

— Это Гусев придумал, — сказала Белова. — Но он прав.

Она села напротив, достала из ящика чистый лист обёрточной бумаги и линейку.

— Ему нужна чистая копия в пятницу. Значит, будет чистая. Сорок три дома, одиннадцать улиц, цифры коек и людей. Без крестов. — Она провела по бумаге первую линию, прямую, как по нитке. — Он узнает, что мы не дали пометок, потому что читает всё. Пусть читает то, что мы написали.

— Вы думаете, он что-то ищет?

— Я думаю, что человек, который просит у нас то, чем у него и так всё есть, хочет посмотреть, как мы отвечаем. — Она подняла глаза. — Это не обвинение. Это привычка. Я с детства смотрю, как отвечают, когда спрашивают лишнее.

Двадцать минут они переписывали список вдвоём, она строки, он цифры, под тиканье отсыревших часов на стене, и ни разу не взглянули друг на друга. Когда лист был готов, Белова сложила его пополам, потом вдруг развернула и сложила иначе, втрое.

* * *

Кравцова принимала в юридической консультации на Ленина, во втором этаже старого каменного дома, в комнате с фикусом, у которого опали нижние листья. Очереди не было — после пересмотра её клиенты стали получать ответы по почте, и приходили теперь только те, кому было нужно поговорить. Она сидела за столом, прямая, в тёмном платье и жакете, в очках с тонкой оправой, с волосами, собранными в тугой узел, и перед ней лежала раскрытая папка, а на подоконнике, повёрнутая лицом к стене, стояла фотография.

— Вы опоздали на пять минут, — сказала она.

— Простите.

— Не извиняйтесь. Садитесь. — Она не подняла головы. — Я нашла.

Она протянула ему лист — выписку, заверенную печатью окружной больницы. Он прочитал.

«Глухов С. Т., 28 лет, демобилизованный. Поступил 27.01.1939 в 21:40 в психиатрическое отделение по ходатайству врача поликлиники в связи с острым состоянием после ночного припадка. Выписан 29.01.1939 в 10:00. Дежурный врач: Рябинин».

— Двадцать седьмое, двадцать девятое января, — сказал Волченко. — Тот период, когда пропала Серова.

— Да. Двадцать восьмого он лежал в палате с решёткой, в чужой пижаме. Двое санитаров его держали. Рябинин помнит. Я его нашла.

— Серову на него не вешали.

— Нет. Но это снимает с него всю серию. Ту самую, которую, по логике Особого отдела, он сочинял. — Она подняла наконец глаза, и они были холодные, внимательные, сухие. — Приговор по Лыковой. А Лыкова не Серова. Мне нужно обстоятельство по Лыковой, и оно должно быть по закону: не слух, не бумажка, а документ, который суд обязан принять.

— Какой?

— Вы знаете.

— Нет.

— Вы знаете, — повторила она спокойно. — Я не спрашиваю. Я говорю, что в день, когда вы мне его принесёте, вам придётся выбирать. Быть следователем или быть свидетелем. Следователь не может приобщить то, что взял без протокола. Свидетель может сказать, где взял, и тогда его допросят.

— Я не понимаю, о чём вы.

— Конечно. — Она закрыла папку. — Теперь про подражателя. Вы слышали? Я не люблю это слово, потому что оно звучит как хорошая новость. Это не новость. Это ловушка, Михаил Андреевич. Вы думаете, подражатель поможет мне? Нет. Он поможет им. Раз был подражатель в декабре, значит, и в ноябре мог быть подражатель, и в октябре. И Глухов, конечно, уже не убийца, а жертва подражания. Но осуждён всё равно, потому что подражатель не отменяет настоящего. Они выиграют, что бы ни случилось. Если новые убийства есть, значит, подражатели. Если нет, значит, мы правы.

— Это логика Гусева.

— Это логика всех, кто хочет закрыть дело. — Она встала, подошла к окну и постояла, спиной к нему. — Сегодня пришёл ответ из управления лагерей. На мои письма, которые я пишу каждый месяц. «Содержится. Переписка запрещена». Одно слово «содержится». Я думала, что умру от этого слова. Потом поняла, что оно означает: жив.

— Вера Сергеевна…

— Не надо. — Она повернулась, и лицо у неё было суровое, без слёз. — Я вас не жалею, и вы меня не жалейте. Принесите мне документ. Любой, который не стыдно приложить. Я подожду. Я умею.

Он встал.

— Если принесу, — сказал он, — меня могут…

— Могут.

— Вы всё равно просите.

— Я не прошу. Я предупреждаю, что запишу вас в свидетели. И что вы окажетесь по ту сторону стола, где обычно сидит подсудимый. — Она взглянула на фотографию, которую никогда не поворачивала лицом. — Я там уже сидела. Знаю, как там. Не пожелаю.

* * *

Мороз ударил на тринадцатое февраля. К вечеру градусник за окном дежурки показывал сорок один, и в комнатах по всему городу лопались стёкла: сухо, звонко, как выстрелы. Волченко, возвращаясь с очередной проверки паспортных ведомостей, которые Васильев выдал без звука, сразу после звонка свыше, прошёл по коридору и услышал: треск, второй, третий. Звук шёл не со стороны окон, а откуда-то из-под пола, из-за стены, ровный, мерный, как ритм на экране, который он давно не видел и не забывал. Он постоял, прислонившись к косяку, и подождал, пока звук растворится в обыкновенном шуме здания.

— Михаил Андреевич, — сказал Мухин из дежурки. — Вам телеграмма.

Телеграмма была на бланке почтового отделения Вяземской, с приклеенными полосками текста, написанными телеграфисткой круглым ученическим почерком, и подпись внизу, крупно, чернильным карандашом: «Лавренюк».

«Хабаровск угрозыск Волченко. Приеду четверг поездом из Вяземской. Есть по Ярцевой и про К. Блокнот при мне. Лавренюк».

Он прочитал её дважды. Потом ещё раз, и третий раз читал уже не слова, а расстановку: «про К.» вместо «про Ларионова», вместо «про Зильбермана», вместо любого слова, которое можно произнести на почте. Лавренюк, человек, писавший в блокноте даже сны, телеграфировал инициал.

— Кто принёс? — спросил он.

— Посыльный с почты. Говорит, приняли в шесть, передали в восемь.

— Кто принимал?

— Не знаю. Телеграфистки сменяются.

Волченко посмотрел на Мухина. Тот стоял, серый, постаревший, с красными веками, и в руках у него была та самая книга отказных материалов, которую он теперь носил с собой, как носят молитвенник.

— Мухин, — сказал Волченко. — Запишите: телеграмма получена тринадцатого, в двадцать ноль-десять. Копию мне. И никому.

— Сделаю.

Он вышел в коридор и стал перебирать в уме всех знакомых на «К». Кисляков, старший инспектор паспортного стола. Кравцова. Корфовская. Куратор. Каждого отбрасывал быстро, не успевая додумать: Кисляков чист, у Кравцовой своя война, Корфовская станция, куратор помогает. Дошёл до Ксюши и остановился: имя вышло само, из той, другой жизни, где никто не носил форму и никто не писал телеграмм на «К». Он сунул руки в карманы шинели и впервые за много дней почувствовал, что очень хочет, чтобы поезд пришёл вовремя.

Глава 4

Землю под могилу оттаивали два дня. Могильщик Ерофеев жёг на месте будущей ямы солому с берёзовыми поленьями, огонь шипел на мёрзлой глине, и когда в среду, четырнадцатого февраля, к воротам кладбища подъехали сани с некрашеным гробом, яма была готова: чёрная, парящая, как котёл.

Хоронили Зимину немногие. Агафья Матвеевна в чёрном платке шла за санями, держась за борт, и вязаные варежки на ней были надеты с левой руки на правую. Белова вела её под локоть. Цой нёс венок из бумажных цветов, сделанный Зиной за ночь: розы из красной крепированной бумаги, у каждой в серёдке нитка, чтобы не рассыпались. Сама Зина шла рядом и не плакала, только держала в кулаке спицы, на которых давно не прибавилось ни одной петли. Мухин в шинели с поднятым воротником отстал у ворот и стоял там, пока остальные не подошли к яме.

Кладбище лежало за городом, на дороге к Красной Речке, и сосны на нём стояли вперемешку с железными крестами, на которых иней нарос сантиметра в два. Волченко знал, что где-то здесь, левее, под самым лесом, лежит Мартынова, которую нашли в ноябре тридцать седьмого. Он ни разу не был на её могиле. Теперь стоял и смотрел на эту сторону, пока гроб опускали на верёвках.

— Отче наш, — сказала Агафья Матвеевна шёпотом, оглядываясь на Мухина в форме. — Иже еси на небесех…

— Я не слышу, — сказал Мухин от ворот, и никто не понял, к кому он обращается.

Она дочитала до конца. Потом выпрямилась, достала из-за пазухи платочек и положила на крышку гроба: тот самый, красный в клетку, который собиралась отдать Антонине к Новому году.

— Лента ушла, — сказала она. — Пусть платок.

Комья глины ударили о дерево и покатились вниз. Белова не отвернулась. Когда яма наполнилась, Ерофеев воткнул в бугор деревянную табличку, на которой Цой химическим карандашом вывел: «Зимина А. И. 1915–1939». Дату смерти поставил двадцать второго декабря, и Волченко подумал, что впервые за четыре года кто-то написал её на кресте точно.

На обратном пути Белова шла рядом, и только у самых ворот сказала:

— Он обещал приехать завтра.

— Лавренюк.

— Вы думаете, он что-то знает про Зимину?

— Он знает про Ярцеву, — сказал Волченко. — Ярцева и Зимина разделены полутора годами и полутора сотнями километров. Если ему есть что сказать про обеих, значит, у него в блокноте то, чего у нас нет: время, которое мы пропустили.

— Или «К.»

— Или «К.». — Он поднял воротник. — Не знаю, кто это. Перебрал всех. Ни один не подходит.

— Может быть, не человек.

— То есть?

— Может быть, не фамилия. Лавренюк пишет коротко. «К.» это, например, «кладбище».

Он остановился и посмотрел на неё. Белова не улыбнулась, но уголок её рта дрогнул.

— Я шучу, Михаил Андреевич, — сказала она. — Очень плохо. Не обращайте внимания.

* * *

Гусев ждал его утром пятнадцатого в коридоре, у окна, с папиросой, которой он не курил, а только вертел в пальцах, как карандаш. Он стоял спиной к стеклу, и на светлом квадрате фигура его казалась вырезанной из картона.

— Слышал, к тебе вяземский едет, — сказал он. — С блокнотом.

Волченко остановился. В кармане шинели лежала копия телеграммы, которую Мухин переписал от руки и никому не показал. Сам он говорил о ней только с Беловой.

— Откуда?

— Тётка. — Гусев пожал плечами. — Антонина Петровна. Она у Ларионова за дверью сидит, всё слышит. Вчера к нему заходил начальник вяземского райотдела: просил за Лавренюка отгул, мол, по семейным. А Ларионов вышел потом злой, ходил по кабинету. Тётка слышала: «блокнот». Больше ничего.

— Ларионов знает, что он едет ко мне?

— Не думаю. Знает, что едет в Хабаровск. — Гусев посмотрел на папиросу и наконец сунул её за ухо. — Ты что-то замышляешь, Миша?

— Нет.

— А лицо у тебя как у человека, который замышляет. — Он вздохнул. — Ладно. Только не ходи с ним по коридорам. Тут у стен слух хороший.

— Это я уже слышал.

— Тогда тем более.

Он ушёл. Волченко постоял у окна, где на стекле белели узоры в форме папоротников, и подумал, сколько человек читало эту телеграмму, прежде чем он её получил: телеграфистка в Вяземской, телеграфистка в Хабаровске, посыльный, Мухин, начальник райотдела, секретарша, её племянник. Он перестал считать на седьмом.

* * *

Поезд из Вяземской опоздал на два часа. На табло в вокзале мелом было написано: «Прибытие 15.40», потом кто-то зачеркнул и приписал: «17.40», а в буфете говорили, что на перегоне за Хором встал паровоз с замёрзшими водомерными трубками и людей выводили греть руки у костра.

Волченко обошёл перрон трижды. На третий раз подошвы примёрзли к доскам, и он отдирал их с лёгким хрустом, как отдирают от стекла мокрые пальцы. Мороз стоял тридцать восемь. Над рельсами висел пар, и в нём дежурный по станции в красной фуражке казался плоской тенью. Репродуктор на столбе передавал сводку — на Карельском перешейке продолжались бои, части Красной Армии вели наступление на Выборг, раненых вывозили эшелонами. Женщина в клетчатом платке слушала с котомкой в руках, и по лицу её было ясно, кто у неё там.

— Он приедет, — сказала Белова.

Она стояла рядом, выпрямившись, в шали, закутанная так, что видны были только глаза и белая полоска лба. Они ждали вдвоём. Цой и Паршин были на другом конце платформы, у выхода на привокзальную площадь, на случай, если Лавренюк, не найдя их, пойдёт сам.

— Я не сомневаюсь, — сказал Волченко. — Я думаю о том, что он везёт.

— Блокнот.

— Он писал мне: «Блокнот при мне». Не «записи», не «материалы». Блокнот. Человек, который не расстаётся с блокнотом, понимает, что больше у него ничего нет.

— Вы его любите.

— Нет. Я его знаю.

Он помнил этого человека в мае тридцать девятого, в Вяземском, под горой, во дворе, где пахло сырой землёй и хозяйственным мылом: широкое терпеливое лицо с рыжеватыми усами, круглые очки, перевязанные у виска ниткой, вышитый крестом олень на стене. Могильщик Фома налил тогда Волченко шкалик: «За упокой, милок». Лавренюк отодвинул свой, не раздумывая: «Мне и без того снится». Фома хмыкнул. Лавренюк улыбнулся одним углом рта. С тех пор Волченко считал его человеком, у которого тихая голова: так и осталось.

— Идёт, — сказала Белова.

Из-за поворота выплыл паровоз. Он шёл медленно, окутанный паром, и снег на крышах вагонов лежал шапками, а из труб валил дым, который сразу же сносило ветром. Колёса прошуршали по рельсам, заскрипели тормоза, и платформа наполнилась людьми: с узлами, с мешками, с детьми в одеялах, с чемоданами из фанеры. Они выходили торопливо, пригибаясь против ветра, и тут же сворачивали к выходу.

Волченко стоял и смотрел на каждое лицо.

Он видел женщин с корзинами, красноармейцев в шинелях, старика в тулупе, молодого человека в очках, которые оказались роговыми. Он видел лица, обмотанные платками, с бровями, белыми от инея. Ни одно не было тем.

Через десять минут перрон опустел.

— Он мог сойти в Хабаровске-втором, — сказала Белова.

— Поезд не останавливается во втором.

— Тогда он в вагоне.

Они прошли вдоль состава, заглядывая в окна. Вагоны стояли пустые, тёмные, с холодными лавками. Проводник последнего, молодой человек в шапке с наушниками, закрывал дверь на ключ.

— Простите, — сказал Волченко. — Здесь не остался пассажир? Крупный, в очках, перевязанных ниткой. Из Вяземской.

— Из Вяземской все вышли, — сказал проводник. — Я проверил.

— Вы его видели?

— Не помню. Их было много.

Волченко достал удостоверение. Проводник посмотрел на него, на Белову, на пустой вагон, и вдруг, что-то припомнив, нахмурился.

— Там был такой, — сказал он медленно. — Очки с ниткой, это да. Они вдвоём ехали, он и тощий, в тулупе. Курили в тамбуре, смеялись. Я думал, знакомые.

— Куда они пошли?

— Я не смотрел. Они сошли и пошли. Через пути, по-моему. Напрямик.

— Через пути?

— Многие ходят: так ближе к площади.

Волченко посмотрел на Белову. Она уже оглядывала пути, и по лицу её было видно, что она увидела то же самое: за последним вагоном рельсы расходились веером, и между ними, в сумерках, смутно чернели тупики товарного двора, составы, водокачка, чей-то одинокий фонарь, качавшийся на ветру.

* * *

Дежурный по станции прибежал, когда они стояли у выхода, и первое, что Волченко услышал, был не голос, а дыхание: хриплое, рваное, с коротким свистом, как у человека, который бежал через весь парк.

— Товарищи милиционеры. Там человек под вагоном. На товарном дворе. Стрелочник нашёл. Он не дышит.

Бежали втроём. Паршин с Цоем догнали их у стрелки. Они проскакивали между составами, спотыкаясь о рельсы и ледяные комья, и в черноте между вагонами только красные огоньки стрелочных фонарей прыгали рядом, как собачьи глаза. Фонари на столбах горели через один, тусклые, жёлтые, со столбами света, в которых кружился снег.

У предпоследней платформы с брёвнами, под самой осью, чернела кучка тряпья. Стрелочник, старик в тулупе, с фонарём в руке, стоял рядом и крестился левой рукой.

— Я шёл со стрелки, смотрю, нога торчит, — сказал он. — Думал, пьяный. Потянул. А он…

Волченко опустился на колени. Паршин посветил фонарём.

Человек лежал на боку, лицом к рельсу, с подвёрнутой под себя рукой. Ватник на нём был расстёгнут, на воротнике иней. Лицо покрывал белый налёт, тонкий, как мука, на ресницах и усах: рыжеватых, обмёрзших. Рядом на шпале, в нескольких шагах от головы, лежали очки: круглые, с дужкой, перевязанной у виска чёрной ниткой.

Он не стал смотреть на лицо второй раз.

— Лавренюк, — сказал он.

Паршин отвёл взгляд. Цой отошёл на шаг и повернулся спиной, к ветру.

— Голова повёрнута, — сказала Белова. Она присела рядом на корточки, и свет фонаря ложился на её лицо, делая его старше. — Неестественно.

— Колёса, — сказал стрелочник. — Платформа стояла. Потом подали паровоз, сцепили, она тронулась. Он, видно, лёг под неё. Пьяный.

— Не пьяный.

Он не знал, почему сказал это: слово вышло само. Он наклонился ближе, почти касаясь лицом воротника, и в этот момент в нос ударил запах, острый, кислый, сразу сорвавший с лица оцепенение. Водка. Крепкая, дешёвая, из тех, что берут по рублю сорок за поллитра. Он не отшатнулся. Он постоял так секунду, потом осторожно раздвинул губы на мёртвом лице и наклонился к самому рту.

Холодный, чистый, безвкусный воздух. Ни капли.

— Что вы делаете? — спросил Паршин.

— Нюхаю.

— Зачем?

— Водка на воротнике. Не изо рта.

Белова подняла голову. Волченко видел, как она подалась вперёд, как сузились её глаза. Она протянула руку и коснулась ватника у шеи. Ткань была влажная, холодная, пахнущая спиртом: не на всём, а полосой, от воротника вниз по груди: плеснули из бутылки сверху.

— Облили, — сказала она.

— Или он облил себя.

— Вы в это верите?

— Нет.

Стрелочник переминался с ноги на ногу и смотрел на них так, словно они говорили на другом языке.

— Товарищи, — сказал он. — Вы не думайте. Я человека не трогал. Только за ногу потянул.

— Вас никто не винит, — ответил Волченко. — Где дежурный по станции?

Дежурный нашёл их через минуту. Он стоял поодаль, в красной фуражке, с засунутыми в рукава руками, и когда Волченко подошёл, сделал шаг навстречу, чтобы сказать заранее заготовленное.

— Несчастный случай, товарищ старший лейтенант, — произнёс он. — Пьяный. При сцепке упал с подножки. Такие бывают раз в месяц.

— Вы видели, как упал?

— Нет, но…

— Тогда это не вывод. Это предположение.

— Вы не понимаете, — сказал дежурный и вдруг оглянулся на темноту за спиной. — Мне позвонили. Минут пятнадцать назад. Сказали: если найдут человека на путях, это несчастный случай, пьяный. Чтобы я не запутывался в формулировках.

— Кто звонил?

— Не назвался. Голос…

— Какой?

— Вежливый, — сказал дежурный и сам удивился тому, что сказал. — Ну, как у начальства. Я не придал значения.

Волченко посмотрел на него долго. Дежурный отвёл глаза.

— Запишите время звонка, — сказал Волченко. — И не говорите это никому, кроме меня.

— Слушаюсь.

Он повернулся к телу. Цой, всё ещё стоявший спиной, наконец обернулся. Лицо у него было тёмное, неподвижное; он вынул «Лейку» из-под тулупа и щёлкнул затвором, один раз, другой, третий, и звук был резкий и короткий, как удар по дереву.

— Лавренюк не пил, — сказал Волченко. — Ни разу. Он отодвинул шкалик при мне. «Мне и без того снится».

— Тогда откуда запах?

— Из бутылки, которую вылили на мёртвого.

Он поднялся с колен. Паршин приподнял мёртвое плечо, чтобы Белова могла расстегнуть ватник, и она обшарила карманы по порядку, как учили: левый внешний, правый внешний, внутренний. Удостоверение оперуполномоченного Вяземского райотдела, в клеёнчатой обложке. Билет, пробитый компостером в Вяземской. Четыре пирожка с капустой, завёрнутые в чистую холстинку, промёрзшие насквозь, как камни: Дарья Ивановна собирала в дорогу. Огрызок карандаша. Ни блокнота, ни записной книжки, ни одного листка.

— Он не расставался, — сказал Волченко.

— Значит, расстались за него.

Она запустила пальцы в узкий карман для билета, почти у самого сердца, и достала сложенный вчетверо клочок бумаги: маленький, мятый, с краем, оторванным по линейке ногтя. Развернула под фонарём.

Мелкий, торопливый почерк, который Волченко узнал бы теперь где угодно:

«С Облучья. Портфель. Вежлив. «Тих. звезду» читает вверх ногами».

Белова прочитала вслух. Паршин хмыкнул. Стрелочник перекрестился.

— Какую звезду? — спросил он.

— Газету, — сказал Волченко. — «Тихоокеанскую».

Он перечитал строку про себя. Человек, который читает газету вверх ногами, не читает. Он сидит напротив того, кого ему показали, и держит перед лицом лист, чтобы можно было смотреть поверх. Лавренюк заметил это в вагоне. Заметил, записал и сунул бумажку туда, где её нашли бы, если бы нашли тело, а блокнот не нашли.

— Он знал, — сказала Белова.

— Он догадывался.

Ветер подхватил снежную пыль, и она закрутилась над рельсами, над брёвнами, над белыми обмёрзшими усами.

Очки подняла Белова. Она держала их на ладони, в перчатке, и смотрела на нитку у виска: чёрную, суровую, замотанную тройным узлом, какой вяжут люди, привыкшие, что вещь должна служить дольше хозяина.

— Он завязывал их сам, — сказала она. — Дарья Ивановна не умела бы так туго.

— Вы думаете, она знает?

— Она узнает через час. Из телеграммы. Я не хочу, чтобы она узнала из телеграммы. — Белова закрыла ладонь. — Я поеду утром. Первым поездом.

— Поедем вместе.

— Нет. — Голос у неё был негромкий, но не допускал возражений. — Вам нельзя в Вяземск. Вас там знает Ларионов, и вас там знают те, кто пишет рапорты. Если вы приедете на похороны, это будет значить, что вы что-то ищете. Я приеду как коллега. Женщина в форме, которая хоронит товарища. Никому не странно.

— А если там будет тот, кто его убил?

— Тем более.

Она положила очки в карман кителя, к листку с двумя словами, который носила с собой с декабря, и Волченко подумал, что кармана у неё хватит на всё, что он когда-нибудь ей скажет.

* * *

Цой вернулся из темноты минут через двадцать, когда тело уже подняли на носилки. Он ходил по двору один, с фонарём, ссутулившись, и снег под его валенками скрипел короткими, осторожными шагами. «Лейку» он держал у груди.

— Следы, — сказал он.

— Говори.

— Двое шли от путей. Один большой, сорок третий, подбитые гвоздями ботинки: его. Второй поуже, сороковой, в валенках. Шли рядом. — Он провёл рукой по воздуху. — Шаги вразнобой: большой иногда останавливался, поворачивался. Спорили или смеялись, не знаю. До платформы дошли вместе. Дальше одна пара: валенки. Быстро. Бегом. К водокачке, а оттуда в сторону депо.

— Большой не вернулся.

— Нет.

— Что ещё?

— Возле платформы снег затоптан, но не как при драке. Скорее как топчутся, пока ждут. — Цой присел, тронул снег ладонью. — Ждали недолго. Минуту.

Волченко посмотрел на него.

— Ждали чего?

— Не знаю. Паровоза? Знака?

Паровоз подали через две-три минуты после того, как ушёл тот, кто бежал: дежурный сам сказал, что платформа стояла, потом пришёл маневровый и сцепил. Маневровому такие вещи заказывают по телефону. Волченко подумал об этом спокойно, как думают о задаче, в которой недостаёт одного известного. А потом вспомнил, что дежурному позвонили раньше, чем стрелочник нашёл тело. Кто-то знал, что оно уже лежит под осью, и позаботился о слове «пьяный».

Глава 5

— Удар в затылок, — сказал Зильберман, не оборачиваясь от стола. — Одиночный. Тяжёлым предметом с ребром, вдавленный перелом четыре на два с половиной, на уровне затылочного бугра. Шейные позвонки сломаны от самого удара, второй и третий. Смерть мгновенная.

Было три часа ночи. Холодная при городской больнице спала, и только в дальнем углу капала вода из крана, отсчитывая секунды. Лавренюк лежал на столе под простынёй, откинутой до пояса, и яркая лампа под эмалевым колпаком выхватывала из полутьмы его грудь, широкую, белую, с курчавой рыжеватой порослью, и руки с въевшейся в ногти землёй. Зильберман в резиновом фартуке, с засученными рукавами, работал один: ни фельдшера, ни санитара он не позвал. Он никому не объяснил, почему не хочет свидетелей.

— Потом колёса, — продолжал он. — Левая нога и таз раздроблены платформой. Но вы смотрите на края ран. Видите, они сухие. Кровоизлияния нет. Кровь не вышла, потому что сердце к этому моменту не работало. Человека переехали уже мёртвым.

— Сколько прошло между ударом и колёсами?

— Минут десять. Не больше. — Он поднял на Волченко воспалённые глаза. — Дальше. Алкоголь. Желудок пуст, Михаил Андреевич. Он не ел с утра. Ни водки, ни хлеба. А в кармане четыре пирожка.

— Для нас.

— Вероятно.

Волченко стоял у стены, прислонившись спиной к холодному кафелю. Белова ушла домой собираться, и в холодной остались только они двое да мёртвый. Он не мог бы сказать, сколько времени простоял так, и что думал: в голове крутился один и тот же образ, ватник, расстёгнутый на груди, и чистая холстинка.

— Следы на спине, — сказал Зильберман. — Поверните его.

Они перевернули тело вдвоём. Кожа между лопаток отливала лиловым — овальное пятно с неясными краями.

— Это он упал на что-то?

— Это в него упёрлись. Коленом или кулаком. Не ударили, а упёрлись, сверху, и толкнули: он пошёл вперёд, упал лицом. — Зильберман указал на лоб, где темнела ссадина, и на подбородок, обтёртый до мяса. — Сначала толчок, потом удар по затылку. Тот, кто бил, был за спиной и немного выше. Или человек лежал уже.

— Кто-то высокий.

— Или тот, кому ничто не мешало. — Зильберман снял перчатки, бросил в таз. — Воротник. Пятно спирта идёт от шеи вниз по груди. Но на подкладке, изнутри, оно слабее. Значит, плеснули сверху, после, когда он лежал. Водку пролили на труп. Пьяный так не пьёт.

— Для кого эта водка?

— Для вас. Вернее, для того, кто придёт читать рапорт, а не смотреть на тело.

Волченко кивнул. Он смотрел на мёртвое лицо Лавренюка, на рыжеватые усы, обмякшие и потемневшие, и вдруг со стыдом понял, что в прошлую встречу так и не спросил, как зовут его жену. Узнал сам, по картине на стене и по вышитому на рушнике имени.

— Яков Семёнович, — сказал он. — Что ещё?

— Ногти. Под правым ногтем безымянного пальца кусочек ткани. Тёмно-серой, шерстяной. Не от его ватника. — Зильберман подошёл к столу с лотком, пинцетом поднял крошечный комочек и положил под лампу. — Он цеплялся. В последний момент. Тот, кто стоял за спиной, был в шерсти.

— Не в шинели.

— Шинельное сукно грубее. Это скорее пальто или свитер. Тулуп, возможно, но с шерстяной подкладкой.

— Тулуп.

— Вы что-то знаете?

— Проводник сказал: тощий, в тулупе. — Волченко достал блокнот. — Но в Хабаровске в этот мороз каждый второй в тулупе.

— Вот именно. — Зильберман аккуратно завернул ткань в бумагу. — Я сегодня утром шёл на службу и считал. Из пятнадцати встречных тулупов было одиннадцать.

* * *

— Закрывай, — сказал Гусев в девять утра.

Он сидел за столом и перед ним стоял чай, нетронутый. Новый китель был застёгнут на все пуговицы, нашивка на рукаве казалась чернее обычного. Он не поднял глаз, пока Волченко не сел.

— Я не договорил, а вы уже…

— Понимаю, что ты хочешь сказать. У меня всё есть. Рапорт дежурного по станции, показания стрелочника. «Пьяный, при сцепке упал с подножки, переехан платформой». Подпись, число. Даже акт от начальника станции. — Он постучал пальцем по папке. — Я не вчера родился.

— Дежурному звонили. До того, как нашли тело. Сказали, что это будет «несчастный случай, пьяный».

— Кто?

— Не назвался.

— Тогда это твоё слово против его, — сказал Гусев. — Дежурный вчера подтвердил мне, что никто не звонил. Сам. Лично.

— Он говорил мне другое.

— Он испугался. Ты представляешь, как человек, который отвечает за станцию, говорит с милиционером, пока рядом лежит труп? — Гусев поднял наконец голову, и под глазами у него были лиловые мешки. — Миша. Я не с ума сошёл. Я понимаю, что ты думаешь. Но слушай. Лавренюк работал в Вяземске. Убит в Хабаровске. В райотделе его знали все, и если бы ему кто хотел зла, то у себя дома. А здесь, на товарном дворе… да мало ли.

— Он вёз мне блокнот.

— Какой блокнот?

— Он телеграфировал.

— Я телеграмму не читал.

— Вы знали про блокнот вчера утром.

Гусев осёкся. Правая щека у него дёрнулась, один раз, мелко, и он прижал её ладонью.

— Тётка слышала, — сказал он. — Про блокнот. Я тебе говорил. Больше ничего, клянусь. Я не хочу тебя подставлять. Я хочу, чтобы ты остался жив. Если закрыть сегодня, то никто не спросит, кто закрыл. А если открыть… — Он развёл руками. — Мне позвонят. «Ваш Волченко». Я сам тебя уберу. Я говорил: из страха. Я не шучу.

— Понимаю.

— Тогда закрывай.

— Нет.

— Нет?

— Я не закрою. Лукин возбудит по факту. Я не прошу вас подписывать.

Гусев посмотрел на него. В этом взгляде не было ни гнева, ни просьбы, только очень глубокая, застарелая усталость человека, который давно понял, что остановить нельзя, но продолжает надеяться.

— Тогда без меня, — сказал он. — Совсем без меня. Я ничего не знаю.

— Хорошо.

— И, Миша. — Он сказал это уже в спину, уже когда Волченко взялся за ручку двери. — Лавренюк был хороший человек. Я помню его по Вяземскому, по тридцать пятому. Он мне как-то принёс гусиное перо. Не знаю, зачем. Говорит: «Пишите, Фёдор Степанович, правду, оно мягче». Я тогда посмеялся.

* * *

Звонок раздался в одиннадцать, когда он сидел в подвале над протоколом, и трубка зазвенела не коротким телефонным, а долгим, протяжным, дальним звуком, каким звонят из управления.

— Волченко.

— Корнеев. — Голос в трубке звучал без нажима, как у человека, который не привык повторять. — Мне доложили о Лавренюке. Мои соболезнования, Михаил Андреевич. Я знал его по инспекции тридцать восьмого.

— Благодарю.

— Несчастный случай?

— Это ещё не определено.

— Вот как. — Пауза, короткая, мягкая. — Гусев мне позвонил полчаса назад, сказал, что готов закрыть. Я попросил его подождать. Вы, как я понимаю, не согласны.

— Нет.

— Работайте. Я скажу Гусеву, что вы не успокоитесь. Он поймёт. — Ещё пауза, секунды три. — Если нужна будет помощь по линии станции, у меня там есть люди. Звоните.

— Спасибо.

— Всего доброго.

Трубка щёлкнула. Волченко положил её на рычаг и несколько секунд смотрел на чёрный эбонит. Сорок секунд, не больше. Человек позвонил, выразил соболезнование, остановил Гусева и предложил помощь. В этом не было ни слова, к которому можно придраться, и Волченко, который тридцать лет сидел на допросах, знал, что именно такие разговоры вспоминаются потом ночью, когда не можешь вспомнить, чем они тебе не понравились.

Он встал, подошёл к стене, где висела карта края, и поставил красную булавку: Вяземская. Рядом поставил вторую — товарный двор Хабаровск-1.

* * *

Белова вернулась семнадцатого вечером, и по лицу её он понял, что говорить придётся долго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.